

Учитель

Федор Лукич Сысоев, учитель фабричной школы, содержимой на счет Мануфактуры Куликина сыновья, готовился к торжественному обеду. Ежегодно после экзаменов дирекция фабрики устраивала обед, на котором присутствовали: инспектор народных училищ, все присутствовавшие на экзамене и администрация фабрики. Обеды, несмотря на свою официальность, выходили всегда длинные, веселые и вкусные; забыв чинопочитание и памятуя только о своих трудах праведных, учителя досыта наедались, дружно напивались, болтали до хрипоты и расходились поздно вечером, оглашая весь фабричный поселок пением и звуками поцелуев. Таких обедов Сысоев, сообразно числу лет, прослуженных им в фабричной школе, пережил тринадцать.

Теперь, собираясь на четырнадцатый обед, он старался придать себе возможно праздничный и приличный вид. Целый час он чистил веничком новую черную пару, почти столько же времени стоял перед зеркалом, когда надевал модную сорочку; запонки плохо пролезали в петли сорочки, и это обстоятельство вызвало целую бурю жалоб, угроз и попреков по адресу жены. Бегаючи около него, бедная жена выбилась из сил. Да и сам он под конец замучился. Когда принесли ему из кухни вычищенные штиблеты, то у него не хватило сил натянуть их на ноги. Пришлось полежать и выпить воды. Как ты слаб стал! вздохнула жена. Тебе бы вовсе не ходить на этот обед. Прощу без советов! сердито оборвал ее учитель.

Он был сильно не в духе, так как был очень недоволен последними экзаменами. Сошли эти экзамены прекрасно; все мальчики старшего отделения были удостоены свидетельства и награды; начальство, и фабричное и казенное, осталось довольно успехами, но учителю было мало этого. Ему было досадно, что ученик Бабкин, всегда писавший без одной ошибки, сделал в экзаменационном диктанте три ошибки; ученик Сергеев от волнения не сумел помножить 17 на 13; инспектор, человек молодой и неопытный, статью для диктанта выбрал трудную, а учитель соседней школы, Ляпунов, которого инспектор попросил диктовать, вел себя не по-товарищески: диктуя выговаривал слова не так, как они пишутся, и точно жевал слова.

Натянувши с помощью жены штиблеты и оглядев себя еще раз в зеркало, учитель взял свою суковатую палку и отправился на обед. У самого входа в квартиру директора фабрики, где устраивалось торжество, с ним произошла маленькая неприятность. Он вдруг закашлялся... От кашлевых толчков с головы слетела фуражка и из рук вывалилась палка, а когда из квартиры

директора, заслышав его кашель, выбежали учителя и инспектор училищ, он сидел на нижней ступени и обливался потом.

Федор Лукич, это вы? удивился инспектор. Вы... пришли?

А что?

Вам, голубчик, посидеть бы дома. Сегодня вы совсем нездоровы...

Сегодня я такой, каким и вчера был. А если вам неприятно мое присутствие, то я могу уйти.

Ну, к чему эти слова, Федор Лукич? Зачем говорить это? Милости просим!

Собственно ведь не мы, а вы виновник торжества. Нам даже очень приятно, помилуйте!..

В квартире директора фабрики всё уже было готово к торжеству. В большой столовой с немецкими олеографиями и запахом герани и лака стояли два стола: один большой для обеда, другой поменьше закусочный. В окно сквозь спущенные шторы еле-еле пробивался полуденный, знойный свет... Комнатные сумерки, швейцарские виды на сторах, герань, тонко порезанная колбаса на тарелках глядели наивно, девически сентиментально, и всё это было похоже на самого хозяина квартиры, маленького добродушного немца, с круглым животиком и с маслеными, ласковыми глазками. Адольф Андреич Бруни (так звали хозяина) суетился около закусочного стола, как на пожаре, наливал рюмки, подкладывал в тарелки и всё старался как бы угодить, рассмешить, показать свое дружелюбие. Он хлопал по плечам, заглядывал в глаза, хихикал, потирал руки, одним словом, ласкался, как добрая собака.

Федор Лукич, кого вижу! заговорил он прерывистым голосом, увидев Сысоева. Как нам приятно! Несмотря на свою болезнь, вы пришли!.. Господа, позвольте вас порадовать: Федор Лукич пришел!

Около закусочного столика уже толпились педагоги и ели. Сысоев нахмурился; ему не понравилось, что товарищи начали есть и пить, не дождавсь его. Он выглядел среди них Ляпунова, того самого, который диктовал на экзамене, и, подойдя к нему, начал:

Это не по-товарищески! Да-с! Так порядочные люди не диктуют!

Господи, вы всё о том же! сказал Ляпунов и поморщился. Неужели вам не надоело?

Да, всё о том же! У меня Бабкин никогда ошибок не делал! Я знаю, почему вы так диктовали. Вам просто хотелось, чтобы мои ученики провалились, и ваша школа показалась лучше моей. Я всё понимаю!..

Да что вы придираетесь? огрызнулся Ляпунов. Какого чёрта вы ко мне пристаёте?

Будет, господа, вмешался инспектор, делая плачущее лицо. Ну, стоит ли из-за пустяков горячиться. Три ошибки... ни одной ошибки... ну не всё ли это равно? Нет, не всё равно. У меня Бабкин никогда ошибок не делал!

Пристает! продолжал Ляпунов, сердито фыркая. Пользуется своим положением больного человека и всех поедом ест. Ну, я, батенька, не погляжу, что вы больной!

Оставьте мою болезнь в покое! сердито крикнул Сысоев. Какое вам дело? Зарядили все одно: болезнь! болезнь! болезнь!.. Очень мне нужно ваше сочувствие! Да и откуда вы взяли, что я болен? Был до экзаменов болен, это правда, а теперь я совсем поправился, только слабость осталась.

Выздоровел, ну и слава богу, сказал законоучитель о. Николай, молодой священник в франтоватой коричневой рясе и в брюках навыпуск. Радоваться нужно, а вы раздражаетесь и прочее тому подобное.

Вы тоже хороши, перебил его Сысоев. Вопросы должны быть прямые, ясные, а вы всё время загадки задавали. Так нельзя!

Его кое-как общими силами успокоили и усадили за стол. Он долго выбирал, чего бы выпить, и, сделав кислое лицо, выпил полрюмки какой-то зеленой настойки, затем потянул к себе кусок пирога и кропотливо выбрал из начинки яйца и лук. С первого же глотка пирог показался ему пресным. Он посолил его и тотчас же сердито отодвинул, так как пирог был пересолен.

За обедом Сысоева посадили между инспектором и Бруни. После первого же блюда, по давно заведенному обычаю, начались тосты.

Считаю приятным долгом, начал инспектор, поблагодарить отсутствующих здесь попечителей школы Даниила Петровича и... и... и...

И Ивана Петровича... подсказал Бруни.

И Ивана Петровича Куликиных, не жалеющих средств на школу, и предлагаю выпить за их здоровье...

С своей стороны, сказал Бруни, вскочив, как ужаленный, я предлагаю тост за здоровье уважаемого инспектора народных училищ, Павла Геннадиевича Надарова!

Задвигались стулья, заулыбались лица, и началось обычное чоканье. Третий тост всегда принадлежал Сысоеву. И на этот раз он поднялся и стал говорить. Сделав серьезное лицо и откашлявшись, он прежде всего заявил, что у него нет дара красноречия и что говорить он не готовился. Далее он сказал, что за 14 лет его службы было много интриг, подкопов и даже доносов на него и что он знает своих врагов и доносчиков, но не желает назвать их из боязни испортить кое-кому аппетит; несмотря на интриги, Куликинская школа заняла первое место во всей губернии не только в нравственном, но даже и в материальном отношении.

Везде, сказал он, учителя получают 200 да 300, а я получаю 500 рублей, и к тому же моя квартира отделана заново и даже меблирована на счет фабрики. А в этом году все стены оклеены новыми обоями...

Далее учитель распространился о том, как щедро сравнительно с земскими и казенными школами ученики снабжаются письменными принадлежностями. И всем этим, по его мнению, школа обязана не хозяевам фабрики, живущим за границей и едва ли даже знающим о существовании школы, а человеку, который, несмотря на свое немецкое происхождение и лютеранскую веру, имеет русскую душу. Сысоев говорил долго, с передышками и с претензией на витиеватость, и речь его вышла тягучей и неприятной. Он несколько раз упомянул про каких-то врагов своих, старался говорить намеками, повторялся, кашлял, некрасиво шевелил пальцами. Под конец он утомился, вспотел и стал говорить тихо, прерывисто, как бы про себя и кончил свою речь не совсем складно:

Итак, предлагаю выпить за Бруни, то есть за Адольфа Андреича, который тут, между нами... вообще... и понятно.

Когда он кончил, все легко вздохнули, как будто кто брызнул в воздух холодной водой и рассеял духоту. Неприятного чувства не испытал, по-видимому, один только Бруни. Сияя и закатывая свои сентиментальные глаза, немец с чувством потряс руку Сысоеву и опять заласкался, как собака. О, благодарю вас! сказал он, делая ударение на о, и прижимая левую руку к сердцу. Я очень счастлив, что вы меня понимаете! Я всей душой, я желаю всего лучшего! Но только должен я вам заметить, вы преувеличиваете мое значение. Своим процветанием школа обязана только вам, почтеннейший мой друг, Федор Лукич! Без вас она ничем не отличалась бы от других школ! Вы думаете: немец говорит комплимент, немец говорит деликатности. Ха-ха! Нет, душа моя, Федор Лукич, я честный человек и никогда не говорю комплиментов. Если мы платим вам пятьсот рублей в год, то, значит, вы дороги нам. Не так ли? Господа, ведь я правду говорю? Другому мы не платили бы столько... Помилуйте, хорошая школа это честь для фабрики! Я должен искренно сознаться, что ваша школа действительно необыкновенна, сказал инспектор. Не подумайте, что это фимиам. По крайней мере другой такой мне не приходилось встречать во всю жизнь. Я сидел у вас на экзамене и всё время удивлялся... Чудо, что за дети! Много знают и бойко отвечают, и притом они у вас какие-то особенные, незапуганные, искренние... Заметно, что и вас любят, Федор Лукич. Вы педагог до мозга костей, вы, должно быть, родились учителем. Все данные в вас: и врожденное призвание, и многолетний опыт, и любовь к делу... Просто удивительно, сколько у вас при слабости здоровья энергии, знания дела... этой, понимаете ли, выдержки, уверенности! Правду сказал кто-то в училищном совете, что вы поэт в своем деле... Именно поэт!

И все обедавшие единодушно, как один человек, заговорили о

необыкновенном таланте Сысоева. И точно плотина прорвалась: потекли искренние, восторженные речи, каких не говорит человек, когда его сдерживает расчетливая и осторожная трезвость. Были забыты и речь Сысоева, и его несносный характер, и злое, нехорошее выражение лица. Разговорились все, даже молчаливые и робкие, вновь назначенные учителя, убогие, забытые юноши, иначе не величавшие инспектора, как ваше высокоблагородие. Ясно, что в своем кругу Сысоев был личностью замечательной.

Привыкший за 14 лет службы к успехам и похвалам, он равнодушно прислушивался к восторженному гулу своих почитателей.

Вместо него похвалами упивался Бруни. Немец ловил каждое слово, сиял, хлопал в ладоши и застенчиво краснел, точно похвалы относились не к учителю, а к нему.

Браво! Браво! кричал он. Верно! Вы угадали мою мысль!.. Отлично!..

Он заглядывал учителю в глаза, как бы желая поделиться с ним своим блаженством. В конце концов он не выдержал, вскочил и, покрывая все голоса своим визгливым тенорком, прокричал:

Господа! Позвольте мне говорить! Тсс! На все ваши слова я могу только одно сказать: фабричная администрация не останется в долгу у Федора Лукича!..

Все смолкли. Сысоев поднял глаза на розовое лицо немца.

Мы умеем ценить, продолжал Бруни, делая серьезное лицо и понижая голос. На все ваши слова я должен сказать вам, что... семья Федора Лукича будет обеспечена и что на этот предмет месяц тому назад уже положен в банк капитал.

Сысоев вопросительно поглядел на немца, на товарищей, как бы недоумевая: почему будет обеспечена семья, а не он сам? И тут на всех лицах, во всех неподвижных, устремленных на него взглядах, он прочел не сочувствие, не сострадание, которых он терпеть не мог, а что-то другое, что-то мягкое, нежное и в то же время в высшей степени злое, похожее на страшную истину, что-то такое, что в одно мгновение наполнило его тело холодом, а душу невыразимым отчаянием. С бледным, покривившимся лицом, он вдруг вскочил и схватил себя за голову. Четверть минуты простоял он так, с ужасом глядел вперед в одну точку, как будто видел перед собою эту близкую смерть, о которой говорил Бруни, потом сел и заплакал.

Полноте!.. Что с вами?.. слышал он встревоженные голоса. Воды! Выпейте воды!

Прошло немного времени и учитель успокоился, но уже прежнее оживление не возвращалось к обедающим. Обед кончился в угрюмом молчании и гораздо раньше, чем в прошлые годы.

Придя домой, Сысоев прежде всего погляделся в зеркало.

Конечно, напрасно я там разревелся! думал он, глядя на свои глаза с темными кругами и на впалые щеки. Сегодня у меня цвет лица гораздо лучше, чем вчера. У меня малокровие и катар желудка, а кашель у меня желудочный.

Успокоившись на этом, он медленно разделся и долго чистил веничком свою черную пару, потом старательно сложил ее и запер в комод.

Потом он подошел к столу, где лежала стопка ученических тетрадей, и, выбрав тетрадь Бабкина, сел и погрузился в созерцание красивого детского почерка...

А в это время, пока он рассматривал диктант своих учеников, в соседней комнате сидел земский врач и шёпотом говорил его жене, что не следовало бы отпускать на обед человека, которому осталось жить, по-видимому, не более недели.